

шедшая из нее мировая революция окончательно разрушает эти рамки; и можно ожидать, как бы ни окончилась наша революция, хотя бы она даже кончилась поражением пролетариата, или переходом его под власть нового общественного слоя, но она, несомненно, навсегда уничтожит и разобьет международные рамки, разъединяющие пролетариат разных стран. А пока, во всяком случае, приходится наблюдать товарищеское пролетарское сознание одновременно на самых различных его ступенях в разных слоях рабочего класса.

Развиваясь в труде, развиваясь в борьбе, переходя всякие границы профессий, стран, культур, товарищеское сотрудничество пропитывает собою всю жизнь пролетариев и весь их быт. Развиваются товарищеские отношения не только между рабочими на одной или на разных фабриках, но в домашней жизни между рабочим и членами его семьи. Прежде пролетарская семья была точной копией или, вернее, просто продолжением семьи крестьянской, или семьи ремесленников, где глава семьи был ее господином, властным руководителем, требовал полного и слепого подчинения. Машинное производство разбивает эту форму. Оно, как вы знаете, делает женщину работницей прежде всего, следовательно, ставит ее в производственном смысле на одну доску с ее мужем. Более того, машинное производство вовлекает понемногу, иногда даже слишком сильно, и детей. Дети становятся рабочими, пусть рабочими слабыми, не квалифицированными, но рабочими, зарабатывающими и получающими в этом смысле начало экономической самостоятельности. И благодаря этому неизбежно меняются все отношения в семье. Пролетарий—отец и муж, не может смотреть на свою жену, на своих детей так, как смотрел крестьянин, как смотрел ремесленник, как смотрели, по крайней мере прежде, и в буржуазном быту: для рабочего жена, во-первых, нередко прямо является товарищем в работе, даже на фабрике; а если не является там товарищем, то он знает, что она может выполнять такую работу; поэтому, если она и ведет только домашнюю работу, он рассматривает эту работу с точки зрения товарищеской связи. Между тем для представителей всех старых культур, если женщина выполняет домашнюю работу, то эта работа представляется низшей, в роде работы прислуги, а не товарища. Точно также и дети.

Дети для пролетария это—будущие товарищи, к которым приходится и относиться так, как к будущим товарищам. Они становятся живым воплощением коллективно-трудовой связи поколений. И это сотрудничество поколений впервые глубоко освещается и осознается пролетарским коллективизмом. Недаром пролетарский авангард, непримиримый по отношению к „сотрудничеству классов“, так охотно, где это от него зависит, ставит памятники великим творцам и работникам прошлого, которые вовсе не были пролетариями: он сознает себя продолжателем их работы, видит в них товарищей по великому делу человечества ¹⁾. Так в новой культуре меняется семейный принцип, как и все другие основы жизни.

Таков второй элемент пролетарской культуры—товарищество, коллективизм. Он, как видим, неразрывен с первым элементом: пролетарская культура есть культура *коллективно-трудолая*.

Здесь главное различие трудовой культуры пролетарской с трудовой культурой крестьянской и интеллигентской. Это именно коллективизм быта, коллективизм мысли. Мы видим, что такое коллективизм быта: отношение ко всем сотрудникам, близким и далеким, ко всем борцам за общее дело, ко всему своему классу, ко всему прошлому и будущему трудовому человечеству, как к товарищам, членам единого и непрерывного трудового целого. А что такое коллективизм

¹⁾ В своем докладе о пролетарском искусстве на I-й Всероссийской Конференции Пролеткульта я формулировал наглядно эту мысль в следующих словах:

„Товарищи, надо понять,—мы живем не только в коллективе настоящего,—мы живем в *сотрудничестве поколений*. Это—не сотрудничество классов, оно ему противоположно. Все работники, все передовые борцы прошлого—наши товарищи, к каким бы классам они ни принадлежали. Почему мы, социалисты, боремся с буржуазными классами настоящего? Потому, что они мешают продолжать дело истории, которое мы приняли от революционной буржуазии прошлого. Они изменяют этим своим предкам; те шли вперед, героически борясь со стихиями истории, а эти говорят: „Стой, не хотим идти дальше, лучше отступить“. Мы же продолжаем наступление тех исчезнувших полков, и говорим буржуазии: „Вы одеты в их форму, но вы не те борцы, вы передались врагу, силам темного царства истории—и мы боремся против вас. А те—наши; хотя оружие у нас иное, и идем мы другим строем, но дело наше общее с ними,—борьба с мертвым за живое“.

мысли? То, что человек в центре своих усилий, и стремлений, своих мыслей, своих задач ставит не личное „я“, а товарищескую организацию—коллектив. Он уже и думает, представляя себе события жизни, таким образом, что подлежащее его мысли является не отдельным лицом, не „я“, „ты“, „он“, а коллективом,—„мы“, „вы“, „они“; в крайнем случае „они“—чуждый, но тоже коллектив.

Вот, положим какое-нибудь прекрасное сооружение; смотрят на него человек индивидуалистической культуры и человек коллективистической культуры. Что они в нем видят? Конечно, оба они видят красоту, величие, и т. д.; но что дальше, за этим? Пусть, напр., дело идет о Кельнском соборе. Индивидуалист сейчас же представляет себе всю гениальность архитектора, который это задумал; величие того властителя, который приказал это выполнить; и на последнем плане у него те сотни тысяч людей, которые это реально создали. Коллективист представляет себе, при виде того же сооружения, гигантскую сумму человеческого труда, которая в него вложена, и гигантскую сумму человеческого опыта, который привел к этому. Для него архитектор, задумавший этот план, есть совершенно случайное лицо, в котором собраны были и объединены опыт и знание, накопленные веками, собранные бесчисленными усилиями людей. А какой-нибудь властитель, который приказал это сооружение построить, для него совершенно случайный выразитель тех или иных общественных потребностей, тех или иных коллективных интересов, в данном случае—потребностей народа феодальной эпохи, интересов церкви. Это выразитель авторитарного мировоззрения, или, что то же, религиозного, свойственного всем сословиям Средних веков. Был бы у власти Петр, был бы Иван, то же приказали бы: совершенно случайно распорядилось именно данное лицо. Но вот—что в это вложен труд тысяч и миллионов людей, мысль веков, хотя мысль прошлого, отжившего, это не случайно, необходимо, это выступает на первый план, это он сразу понимает и чувствует, и красота для него имеет совершенно другой характер. Это коллективизм не только мысли, но и чувства.

Сравним еще специально человека нетрудового и работника. Когда человек нетрудовой смотрит, хотя бы, на

Эйфелеву башню, то его прежде всего поражает своеобразное изящество — точно кружево. Это первое сравнение, когда видите издали Эйфелеву башню: точно выступающий уголок тонкого кружева над горизонтом. Такова чисто внешняя сторона и чисто эстетическое впечатление, дальше которых не идет впечатление человека нетрудового. Но работник, сознательный, конечно, который видит это громадное сооружение колоссальной прочности, из миллионов пудов стали, связанных в тонкую сетку, тот, прежде всего, представляет себе и силу науки, т.-е. коллективного знания, и силу труда человеческого, труда коллектива. И потом уже, в связи с этим, так сказать на этой основе, для него выступает чисто эстетическая сторона. Напр., сравнение с кружевом, которое обыкновенно плетется индивидуальной работницей и с незначительным усилием, притом машинным, полу-сознательным, едва ли даже придет в голову пролетарию.

Именно этот момент пролетарской культуры отличает ее очень сильно от всякой другой, всего больше, всего сильнее. Отличает ее не только от буржуазной культуры, и вообще нетрудовой, но и от трудовой — крестьянской и интеллигентской, потому что там коллективизм быта развит очень слабо, потому что там представления о сочетании массы усилий человеческих, о сочетании массы опыта, о связи работников, о связи поколений, выражены гораздо меньше, так как сама жизнь прямо не дает и не подчеркивает этого. Большинство крестьян живет своим личным хозяйством, сосредоточено мыслью и чувством на своем хозяйстве. Идея связи коллектива для такого мелкого хозяина — отвлеченная мысль, которую он понять может не скоро, даже когда она ему дана со стороны; и почувствовать ее смысл он может только с большим трудом. А интеллигент, это человек, который пользуется чужими усилиями, хотя и руководит ими. И опять таки, поэтому связь усилий коллектива ему гораздо менее близка. В то же время это человек личной карьеры. Трудовой интеллигент есть человек, который имеет возможность личными усилиями, личным талантом, личным знанием пробить себе дорогу в жизни; и на этом сосредоточены его интересы; т.-е., на своей личности, на своем „я“. И опять таки мысль о коллективе при этом сама собою от-

ходит на второй план. Следовательно, и в крестьянской и в интеллигентской культуре коллективизм остается в скрытом состоянии, он подавляется индивидуализмом. Отчасти, кроме того, подавляется он и авторитарностью. Интеллигент—руководитель над рабочими, он их рассматривает как нечто, ниже себя стоящее, их работа сама по себе его интересует гораздо меньше, чем его план, его соображения, его мысли. Авторитарность свойственна и крестьянину в домашней жизни, где он сам является руководителем его хозяйства. Она также уменьшает склонность его к коллективистическому мышлению и чувствам.

Итак, коллективизм есть центральный, отличительный момент пролетарской культуры; из него вытекают, как увидим, и следующие моменты.

С. Разрушение фетишей.

Товарищество пролетариата, а с ним и пролетарская культура возникают в труде, расширяются и оформляются в социальной борьбе. Эта борьба ведет к разрушению различных фетишей прошлого.

Фетишизм—это вообще всякое извращенное представление действительности. Фетишизм—когда, например, люди поклоняются камням, как высшим существам; а на самом деле человек, конечно, выше камня по своей организации. Или, например, когда люди верят в бога, который сотворил людей, тогда как на самом деле люди сотворили бога. Или, например, когда признается, что человек должен исполнять волю Пославшего, как говорится в Священном Писании, тогда как сам „посылающий“ есть только выражение интересов какого-нибудь коллектива, в ранних стадиях—развития—коллектива общинного, племенного, в позднейших—господствующего сословия или класса, о воле которого, фактически, и идет дело. Всякое представление действительности, извращающее, перевертывающее в сознании людей ее отношения, есть фетишизм.

Старые культуры, авторитарная и индивидуалистическая, породили массу разных фетишей. Вот эти фетиши и разрушаются сознанием пролетариата в его борьбе. В первую

очередь идут более простые фетиши—авторитарные. Сюда принадлежат, например, все религиозные представления. Они извращают действительность, изображая мир, как создание высших сил, как нечто подчиненное высшим силам, тогда как эти высшие силы—мнимые, сами только создание воображения. Затем, авторитарный фетиш очень важный, это священный характер власти, ее непреложность, ее божественная природа. Понятно значение этого фетиша, он основа дисциплины в авторитарном мире: что может лучше ее поддерживать, как всеобщее убеждение в священной непреложности власти? Такова и вообще вся религиозная мораль, которая, собственно, мотивируется так: это—хорошо, потому что это—веление божества. То-есть: нравственно то, что соответствует велению божества, безнравственно то, что противоречит ему. А божество есть, в сущности, представитель всех вообще авторитетов и всякой власти.

Все эти главные авторитарные фетиши—религия, священная непреложная власть, мораль божественного, т.-е. авторитарного повеления,—имеют одно и то же значение, как устой авторитарной общественной организации, как опора ее дисциплины.

Теперь, в каком положении пролетариат по отношению к этим фетишам, следовательно, прежде всего по отношению к власти—подчинению, т.-е. авторитету вообще? Рабочий, конечно, подчинен капиталисту и агентам капиталиста, разным служащим: отношение авторитарное. Отсюда, казалось бы, вывод неизбежно тот, что рабочий должен и подчиняться авторитарным фетишам. Так это в начале и есть, пока он принимает эту власть, считает ее нормальной, естественной. Но когда начинается борьба против власти, социальная борьба против господствующих классов, тогда оказывается, что хотя рабочий подчинен, но к своему подчинению относится отрицательно. А раз это так, то подчинение теряет власть над его сознанием. Затем рабочий вступает в противоречия по самому ходу борьбы не только со своим экономическим начальством, с капиталистом: ему приходится вступать в борьбу с начальством политическим; а позже, когда он убеждается, что начальство духовное поддерживает и экономическое и политическое, тогда он принужден вступить в противоречие и борьбу также с ду-

ховным начальством. Следовательно, шаг за шагом он вступает в борьбу со всеми авторитетами. Вполне понятно, что на этой почве у него создается мало-по-малу отрицание авторитарности вообще. Притом, хотя он борьбу ведет с действительными, реальными авторитетами, с капиталистом, государством буржуазным, со жречеством, но раз у него складывается отрицание авторитарности, то далее происходит разрушение и авторитетов мнимых, т.е. божеских и нравственных; эти авторитеты—только порождение действительных авторитетов и их продолжение, их духовное завершение,—так, что переход к разрушительной критике и к этим мнимым авторитетам неизбежен.

Так разрушаются эти фетиши. Но это процесс долгий, даже в передовых странах не заверченный. Пример—религиозность английских и американских рабочих, даже части германских. И кроме того, в самой пролетарской борьбе есть условия, которые временно поддерживают авторитарность. Надо помнить, борьба всегда есть борьба, в ней необходимо силы концентрировать, нужна централизация; а пока централизация эта осуществляется объединением во круг вождей, т.е. авторитета в самом рабочем классе. И вначале эта власть в сущности такая же, как власть пророков в какой-нибудь секте. Она власть безусловная, по отношению к которой человек массы не рассуждает, т.е. чисто авторитарная власть, отношение к вождям, как высшим существам. Но, конечно, удержаться в таком виде пролетарски-классовая авторитарность не может, потому что класс, как целое, борется, ведь, против авторитетов. Что же тогда происходит с этой внутренней властью, внутренней авторитарностью? Она постепенно теряет свой прежний, собственно-авторитарный характер, она очищается от бессознательного подчинения по мере того, как пролетариат культурно поднимается, по мере того, как пролетариат вырабатывает свое отношение к жизни. Подчинение становится все более и более сознательным, и все более и более переносится с вождя на коллектив. Каким же именно образом происходит это перенесение? Вождь обыкновенно остается, но под контролем самой массы, т.е. развивается контроль класса над вождями, и они остаются таковыми лишь постольку, поскольку выражают стремления и созна-

ние этой массы. Следовательно, класс объективно направляет вождя, объективно руководит им, а сам следует за ним постольку, поскольку вождь становится отражением этой массы, выразителем этой коллективной воли; и в вопросах принципиальной важности, в вопросах основных, в вопросах направления, общих задач, вожди не смеют уже и принимать решений: там решают массы и коллектив. Разумеется, о слепом подчинении тогда не может быть и речи. Самый молодой, самый слабый член коллектива может возражать самому выдающемуся вождю, может с ним не соглашаться; и более того, может заставить его, если найдет себе сочувствие массы, отказаться от тех или иных планов или намерений.

Но как же быть с дисциплиной? Существует же в рабочем классе, ему нужна, необходима дисциплина? Да, товарищеская дисциплина, но не авторитарная. В нем развивается на место прежней авторитарной дисциплины новая — товарищеская. Какая же между ними разница? Первая разница уже выяснена, эта та, что руководителю, авторитету подчиняются постольку, поскольку он выражает волю коллектива. А из этого ясна и другая. Руководитель вовсе не есть власть, он только лицо компетентное. Власть заменяется компетентностью, т. е. подчинением организатору в тех пределах, в каких он лучше других владеет опытом и знает волю коллектива. Обыкновенно говорят: компетентный, это тот, кто лучше знает. Что именно это означает? Что он располагает более значительной суммой опыта: а опыт есть общее достояние людей, продукт и достояние коллектива. Кроме того, так как организаторская компетентность основана во многих случаях, например, в политике, не только на количестве опыта, но и на том, что вождь знает и выражает отношение масс к тому или иному вопросу, то компетентность его основана на том, что он лучше других связан с волей коллектива. Вот два примера. Самый компетентный, самый авторитетный пролетарский мыслитель был Маркс. Но почему? Потому что он обладал такой суммой коллективного опыта, общего опыта, выработанного человечеством, каким не обладал никто другой из людей вообще, и в частности из пролетариев. А любимым вождем немецкого пролетариата был Август Бебель, который всегда

умел уловить настроения, стремления, чувства немецкого пролетариата, значит, лучше всех выражал волю своего коллектива. Вот в чем и заключается компетентность: в том, что человек наилучше владеет опытом коллектива, или наилучше выражает его волю.

В сущности, здесь это только яснее обнаруживается; но ведь, это есть и в обыкновенной, обывательской жизни. Представьте себе, что вы больны; вы обращаетесь к врачу, и врач предписывает вам лечение. Что же он, власть над вами, если предписывает вам лечение? Конечно, нет; однако, вы его станете слушаться, если сколько-нибудь доверяете его компетентности. А что здесь значит „компетентен“? Что он обладает больше других людей медицинским опытом человечества. То, что коллективно выработано человечеством в медицине, ему известно; поэтому он в медицине компетентен, поэтому вы его слушаетесь. Но только в этом и станете слушаться, а в другом вопросе, может быть, он обратится к вам. Там, где вы компетентнее, уже он станет вас слушаться. В этом глубокое отличие компетентности от власти. Компетентность не только ограничена, но может быть и взаимной: компетентные в одном обыкновенно не компетентны в другом, и обратно. В этом отношении все уравниваются, и каждый может чувствовать себя совершенно таким же членом коллектива, как и кто угодно другой. В одном он слушается одного, как знающего, компетентного человека, в другом—другого, а в третьем—другие два его слушаются. Это—основа товарищеской дисциплины. Как видим, тут нет никакого места фетишам власти, а, следовательно, и всем другим, из них вытекающим.

Но опять-таки напоминаю: существуют все переходные ступени, от самой грубой авторитарности, до самой чистой товарищеской дисциплины. Один и тот же вождь в глазах наиболее отсталых может быть чем-то вроде пророка или божества, в глазах несколько более передовой части—необыкновенным, исключительным существом, а в глазах самых передовых товарищей—лишь высоко компетентным товарищем в одно и то же время. И это великолепно можно наблюдать у нас в России.

Много сложнее, запутаннее, разнообразнее фетиши индивидуалистического, собственно буржуазного мира. Из них

первый, основной, пожалуй, и самый простой—это *индивидуальное хозяйство*. Казалось бы, какой же это фетиш? Существует же индивидуальное хозяйство, хозяйство данного лица. В действительности его нет. Никакого отдельного индивидуального хозяйства самого по себе существовать не может, потому что во всех своих потребностях он нуждается в других хозяйствах, потому что без обмена продуктов оно немедленно уничтожилось бы. Представьте себе, например, хозяйство сапожника; отделите его от остальных хозяйств—и кончено. Сапоги у него есть, но больше ничего нет. Для сапог нужны материалы, а их получить ему неоткуда; а следовательно, и самые сапоги он производить не может. Даже хозяйство крестьянина: оно как будто может и тогда держаться дольше; однако, хлеб у него, положим, будет, но без одежды, ведь, тоже нельзя, а одежды у него нет, и топлива тоже, если у него нет на своем участке; но без топлива нельзя жить; и орудия, когда они изнаются, сам он сделать не может; следовательно, и у него индивидуального хозяйства в действительности нет. Есть только коллективное хозяйство, общественное хозяйство, и его части, неразрывно между собою связанные. А индивидуальное—фетиш, в точном смысле слова, потому что это есть извращенное представление действительности. На деле есть коллективное общественное хозяйство и его отдельные части, а представляется, что есть индивидуальное хозяйство, и даже общественного как будто нет, т. е., что каждое частное хозяйство и живет само по себе и для себя.

С этим первым фетишем связан неразрывно другой—частная собственность. Казалось бы тоже, какой это фетиш? Ведь она же есть? Фетишизм здесь заключается в извращенном ее понимании. Именно, частная собственность представляется как отношение между человеком и вещью. Человеку, скажем, принадлежит эта одежда. Представляется, что это и есть связь между ним и его одеждой; а в действительности это совсем не так. Это фетиш сложный и требует несколько более сложного анализа.

Связь между человеком и вещью может быть двух родов. Может быть связь материальная. Вот, вы надели одежду, между вами и ею получилась связь; но это не есть связь собственности, это материальная, техническая связь. Может

еще быть связь идеальная, связь мышления. У вас есть, например, известное понятие или представление об этой одежде, это ваше идеальное отношение к ней. А если одежда ваша собственность, есть ли это связь техническая, есть ли это связь идеальная между вами и ею? Ни то, ни другое. Ваша собственность может находиться за тысячу верст от вас. Очевидно, это не есть связь техническая. О вашей собственности вы можете не иметь никакого понятия, хотя она от этого нисколько не меньше—ваша собственность. Например, вам остался в наследство дом, и вы совершенно не знаете о тех вещах, которые в нем находятся, понятия не имеете, что там есть и чего нет, а эти вещи уже ваша собственность. Или, вот еще более яркий пример. Умирает собственник „Таймса“, громадного газетного предприятия; у него остается наследник—трехмесячный ребенок. Кому принадлежит „Таймс“, как издательское предприятие? Этому трехмесячному ребенку. Есть ли у него техническая связь с „Таймсом“? Ясно, что, нет. Есть ли идеальная связь с „Таймсом“? Разумеется, нет, он еще и понятия не имеет об этом. Есть вообще какая-нибудь связь, какое-нибудь отношение? Прямой связи никакой; а между тем—„его собственность“. В чем же тут дело? В том, что вы, я, он и т. д., все общество, коллектив признает, что этот самый младенец собственник этой газеты. Только это и можно констатировать; больше ничего нет. Все дело в коллективном признании связи; т.-е. в отношении общества к этому человеку и этой вещи. Между вами и вещью прямой связи может и не быть; во всяком случае, она тут неважна. Но имеется отношение общества и к вам, и к этой вещи одновременно: общество признает вас ее собственником. Это связь общественная. Частная собственность есть, как это ни странно звучит,—общественная связь, и заключается в определенном отношении коллектива к лицу и к вещи. А ее обычное понимание—фетиш, второй индивидуалистический фетиш, тоже очень важный.

Третий фетиш огромного значения—товарная ценность. Опять-таки, в чем заключается здесь фетишизм? В том, что ценность считается свойством самого товара. Всякий думает, что товар продается за деньги, покупается за деньги, потому что ему самому по себе, самой его природе свойственна

такая-то ценность. На самом же деле обмен между индивидуальными хозяйствами означает именно то, что они являются частями общественного хозяйства, и следовательно, обмен товарами есть, собственно, просто обмен разного труда между разными хозяйствами. Если сапожник и крестьянин меняются,—с помощью денег или без помощи денег, это неважно, — но в общем меняют хлеб на сапоги и обратно, то это значит, что крестьяне не выполняют труда для производства сапог, а взамен его отдают труд по производству хлеба, и обратно: это только обмен труда. И товарная ценность есть именно общественный труд, заключенный в товаре, а вовсе не природное свойство этого товара. Поэтому самые полезные вещи, которые по своей „природе“, казалось бы, должны быть самыми ценными, как раз никакой ценности товарной не имеют; таковы воздух и вода;—и это потому, что они не требуют труда для их получения, что общество не тратит на них труда. Но если, в исключительных случаях, и на них труд приходится затрачивать, то они приобретают ценность; например, вода из водопроводов в городах. Как видим, и этот фетиш вытекает из фетиша индивидуального хозяйства.

Четвертый фетиш—личное „я“. Человек считает себя автономным, т. е., самоуправляющимся, самостоятельным, совершенно отдельным существом, считает себя независимым центром действий, интересов, стремлений, мыслей, считает, что во всем этом он сам по себе. А это неверно. В действительности, он продукт коллектива. Его воспитание, общественная среда, его окружающая, т. е., его класс, его группа, делают его таким, какой он есть, формируют его мысли и волю. Его действия зависят от его воспитания и от социальных влияний, т. е. от коллектива, его стремления, его мысли формируются теми же силами—воспитанием, влияниями, т. е. опять таки коллективом. Ничего независимого тут нет. Если взять самого пролетарского ребенка и воспитать в строго-буржуазной обстановке, из него выйдет чистейший и убежденный буржуа, и обратно. Следовательно, в его личности нет ничего автономного, ничего независимого, кроме его индивидуальных склонностей, способностей, свойств, которые определяют степень и оригинальность его развития, но не его направление, не его волю в основном. Личное автономное

„я“ фетиш очень общий, очень глубоко укоренившийся в природе человеческой; сущность извращения здесь в том, что человек противопоставляется всем остальным, и даже всему миру, тогда как на деле он—продукт общества и мира.

Таковы основные фетиши индивидуализма. Все они возникли вследствие разделения, разъединения людей, вследствие того, что люди во взаимной борьбе, во взаимной конкуренции на рынке, перестали видеть и сознать коллектив. Отсюда индивидуальное хозяйство: оно ощущает себя индивидуально потому, что борется с другими на рынке. Отсюда частная собственность: собственник не сознает ее общественного характера, потому что борьба, конкуренция отделяет его от остального общества. Товарная ценность приписывается самому товару, потому что люди не видят общественного труда, который и есть ценность. Личное „я“ кажется независимым, потому что оно сталкивается с другими „я“, находится в противоречии с ними. Все это фетиши борьбы, фетиши анархии буржуазного мира; и главная их основа—это рынок, где как разворачивается борьба, анархия буржуазного мира.

Но ведь и рабочий выступает на рынке? Да, и он туда является, во-первых, как продавец рабочей силы, во-вторых, как покупатель разных предметов потребления. Казалось бы, как продавец рабочей силы, он конкурирует с другими рабочими; и кроме того, конечно, борется с капиталистами, как ее покупателями. Казалось бы, как покупатель средств потребления, он опять-таки конкурирует с другими покупателями, если средств потребления мало, и опять-таки борется с продавцами. Значит, он как будто во всей этой борьбе, во всей этой конкуренции участвует, во всей этой анархии борется с другими борцами. Как же он тогда преодолеет эти фетиши индивидуализма, которые из нее и возникают? Но дело в том, что у пролетария, к его счастью, положение особое. Когда капиталист конкурирует с другими капиталистами, он может их победить и выбиться своими силами, может лично подняться в этой борьбе, а пролетарий лично, своими силами ровно ничего не может. Он один не может бороться при продаже своей рабочей силы с капиталистами. Он не может никак в одиночку повлиять на цены продуктов, которые покупает. А так как

у пролетариата имеются все условия для объединения, то пролетарии, не будучи в силах бороться отдельно, конечно, объединяются. Как продавец рабочей силы, пролетарий перестает конкурировать с другими пролетариями, связываясь с ними в профессиональные союзы. Тогда, раз конкуренции нет, то индивидуализм реально преодолевается; а соответственно меняется и строй сознания. Как член профессионального союза, рабочий не рассматривает другого рабочего, как своего конкурента, а напротив, считает его своим союзником в борьбе за наилучший коллективный договор.—Как покупатель средств потребления, рабочий объединяется с другими в кооперативах; и коллективными силами им тут уже удастся повлиять на цены продуктов в свою пользу, приобретать их дешевле. Тогда опять-таки, чувства разъединения, сознания—„другой купит, мне ничего не останется“, — тут уже нет, а есть стремление сообща, кооперативом, приобрести возможно большее количество по наилучшим ценам. Следовательно, и как продавец рабочей силы, и как покупатель предметов потребления, рабочий выходит из этого противоречия с другими рабочими, перестает бороться с ними, перестает быть их конкурентом, а напротив, объединяется с ними в коллективах профессиональных и кооперативных. Если так, те фетиши, которые вытекают из этой борьбы, фетиш индивидуального хозяйства и другие, падают сами собою. Рабочий видит, что у него индивидуального-то хозяйства нет, что даже его домашнее хозяйство вовсе не индивидуальное; и вполне естественно, он может тогда гораздо легче разглядеть, что и вообще нет индивидуального хозяйства в современном обществе. Что касается частной собственности, этот фетиш и без того, конечно, имеет очень мало оснований у пролетариата, который вообще частной собственности не имеет; единственная такая „собственность“ пролетария—его рабочая сила; а между тем ее он должен продавать сообща с другими; значит, какая же это частная собственность? Далее, товарный фетишизм—ценность, присущая товару самому по себе;—рабочий лучше всякого другого видит, что эта ценность присуща вовсе не товару, а как раз тому труду, который коллективно этот товар произвел. Этому его учит самый процесс производства, который коллективен. Ему

мешала понять это только идея индивидуального хозяйства; а он от нее отрешился. Он *видит* общественное хозяйство; а кто видит общественное хозяйство, для того понятна и коллективно трудовая основа ценности товара.

И опять-таки, весь этот процесс исторически длительный, далеко не завершенный. Он находится на разных ступенях в разных слоях рабочего класса. Коллективизм сознания у одних развит менее, в зародыше, у других более, у третьих в еще более высокой степени, и т. д. От того и получаются различные степени стойкости в коллективной борьбе, и отдельные такие факты, как штрейхбрехерство, как взаимная борьба даже между профессиональными союзами, что бывало нередко в Америке, как измена отдельных представителей пролетариата, переход на сторону буржуазии, и т. д. И в частности фетиши личного труда, личных интересов, конечно, еще меньше всего подорваны на известных ступенях рабочего движения. Даже союзы, даже организации часто рассматривают себя как объединение сил для преследования личных интересов. Так, например, на вопрос, что такое союз рабочих, тред-юнионисты, т. е., люди старого типа профессиональных союзов, и большая часть синдикалистов, уже нового типа профессиональных союзов, но более массово-примитивного, отвечают так: рабочий союз есть объединение личностей, общими силами преследующих свои индивидуальные интересы. Значит, тут каждая личность все-таки стоит, собственно, за себя. Они объединяются только как союзники, в известном договоре; цели и задачи здесь не в коллективе, а в личности. И если, ставши на эту точку зрения, проводить ее логически до конца, то получается что же? Когда личность может свои индивидуальные интересы преследовать без этого союза лучше, то она имеет право из него уйти; тут нет измены: раньше она преследовала личные интересы в объединении, а теперь ее личные интересы преследуются лучше, если она от этого объединения уйдет. Например, капиталист дает ей большую плату — значит, собственно, можно уйти. Такие выводы порождает фетиш личного я.

Есть еще иные фетиши индивидуализма, не менее прочные и устойчивые, хотя они производные, они основаны на тех и заполняют, так сказать, их пробелы. Это фетиши так

называемой отвлеченной морали, отвлеченной истины, отвлеченной красоты. Что такое отвлеченная мораль? Авторитарная мораль, мы знаем, это просто веление божие: бог велел так поступать—и это нравственно. Но буржуазная мораль все-таки в некоторых своих элементах поднялась выше этого. Передовые идеологи буржуазного мира божество отвергают, мораль считают невозможным свести к простому его повелению. Но как же они тогда объясняют мораль? Они индивидуалисты. Для них коллектив не виден, общество для них не существует как целое; а мораль, в сущности, что такое? Мораль—просто порядок устройства коллектива; это в действительности—правило коллективной жизни, норма организации коллектива. Как коллективу нужно жить, чтобы его интересы удовлетворялись, чтобы в нем не было противоречий? Ответом на это является бес-сознательно выработанный устав, который и есть мораль. В авторитарной морали правила жизни коллектива приписывались божеству; но в строго индивидуалистической морали ему нет места; что же тогда подставляется вместо него? То, что одно только и остается: это самое „автономное“ личное „я“: принимается, что мораль есть собственное автономное законодательство личности. „Я“ само себе дает закон, само понимает, что справедливо, что несправедливо, что добро, что зло; и вот, его убеждение, что это, а не то, справедливо, и есть основание, почему так, а не иначе, должно поступать. Другое же—несправедливо, и не должно этого делать. Такова формула отвлеченной морали; наиболее ярко и точно она была выражена в кантианстве. Как видим, о коллективе здесь нет и речи, идея его вполне скрыта. Но откуда же тогда у человека в его личном „я“ это моральное сознание? Кант принужден был принять, что под „эмпирическим“ т. е., прямо, в опыте известным человеку, сознанием есть, как и под всеми вообще явлениями, еще другой мир, внутренний, скрытый мир „вещей в себе“, где лежат основы морального сознания, но куда забраться нельзя. Этому миру Кант и приписал все, что ему требовалось, чтобы объяснить моральное сознание, идею „долга“; оттуда, а не из жизни общества, приходит „категорический императив“, т. е. веление, обязательное само по себе, без мотивировки. Оно так и формулируется: должно именно

потому есть должное, что оно справедливо, а несправедливое потому не должно, что оно несправедливое. Т.е. долг есть долг, и поэтому ему нужно повиноваться. Это точная формула самого Канта. Такая мораль является вполне „отвлеченной“, потому что она оторвана от жизни, от своего действительного происхождения, и обосновывается всецело сама на себе: долг есть долг—и кончено.

Может ли этот фетиш удержаться в сознании пролетариата? Пролетарий на опыте своей коллективной борьбы убеждается в двух вещах: во-первых, что для него самого справедливое есть то, что соответствует интересам его коллектива; во-вторых, что справедливое для одного класса несправедливо для другого. Он видит на деле в столкновениях своих с господствующими классами, что для них справедливо то, что для него несправедливо. Таким образом отвлеченная мораль и основанное на ней право—справедливость сама по себе, общая для всех, в том смысле, что всякое человеческое существо ее само для себя создает,—оказывается мнимой, ее нет; фактически мораль и право существуют для того или иного класса: у одного класса одни, у другого другие. Рабочего судят и присуждают к тюрьме за то, что он считает справедливым; а между тем он видит, что и те правы со своей точки зрения. На классовом суде, и вообще в борьбе, в которой понятия о нравственном и законном с двух сторон оказываются противоположными, он убеждается, что никакой морали отвлеченной, самой по себе, которая сама себя навязывает человеку, или которую всякий человек автономно себе навязывает, и которая поэтому, исходя из самой человеческой природы, является обязательной одинаковой для всех,—что такой морали и такого права нет, а есть мораль и право одного класса или другого класса. При этом оказывается, что мораль, право каждого класса—это именно порядок, для них выгодный. С точки зрения пролетариата штрейкбрехер—грязное, противное существо. Почему? Потому, что он вредит своему коллективу. А с точки зрения буржуазной морали—это человек, отстаивающий автономию своей личности, свое автономное „я“, значит, это высоконравственное существо. С точки зрения рабочего стачка есть законнейшее и необходимейшее средство коллективной борьбы, высоко нравственное действие, при котором люди жертвуют личными интересами ради общих. Но с точки зрения капи-

листа стачка есть посягательство на его свободу договора с каждым рабочим, посягательство на личную свободу, следовательно, весьма безнравственная вещь и т. д.

На любом вопросе легко обнаруживается, в чем вся сила, вся принудительность морали с буржуазной точки зрения: как раз в том, что она отвлеченна, что она „сама в себе.“ Ее представители, еще в эпоху древнего мира, формулировали ее значение таким образом: *fiat justitia, pereat mundus*—да будет справедливость, хотя бы мир должен был разрушиться для этого. Конечно, это нелепая точка зрения, потому что справедливость на деле—именно жизненные интересы коллектива, а если мир разрушить—от коллектива, и значит, от его справедливости ничего не останется. Таков фетишизм индивидуалистической морали, настолько он извращает действительность. В действительности дело идет об интересах коллектива, а принимается, что никакой коллектив не имеет значения—и его, и все прочее можно уничтожить, лишь бы голое повеление долга осуществилось.

Аналогичным образом индивидуалистический мир порождает фетиши отвлеченной истины. Опять-таки почему? Потому, что он не видит коллектива, и от него скрыты коллективные усилия в борьбе с природой. В действительности истина—это коллективный опыт, то, на чем основывается коллективная практика, это идеальное орудие коллективного труда. Этого не видит индивидуализм, и для него истина есть просто истина, и кончено: как формулировал Плеханов,—то, что соответствует действительности, т.-е. то, что истинно; а дальше этого он идти не может, дальнейшего исследования ему не требуется, и оно, с его точки зрения, невозможно. И опять-таки, эта отвлеченная от мира истина выше всего, она останется, когда и самого мира не будет. Один видный философ-идеалист говорит мне: „Что же, вы утверждаете, что теорема Пифагора перестанет быть истиной, если человечества не будет больше?“—Конечно, перестанет; ее просто вообще не будет; она имеет смысл и значение только в человеческой действительности, в человеческой практике, она и возникла у египтян, как землемерный прием. Кто и какой мерой будет мерить гипотенузу и катеты, кто будет возводить их в квадрат, если нет человечества? Но все эти соображения просто непонятны индивидуалисту. Для него без доказательств ясно,

Что истина никакого отношения к коллективу, к его опыту, к его труду не имеет, но принадлежит к особому отвлеченному миру, что она, следовательно, существует совершенно независимо от всяких социальных условий.

Это очень прочный фетиш, потому что он многими веками складывался; от него трудно отрешиться даже современным передовым пролетариям; но они все-таки отрешаются. Они на опыте узнают, что истина — разная с точки зрения разных классов. Они видят, например, такую вещь, что одно и то же для пролетария истина, и очевидная истина, а для капиталиста — ложь, и очевидная ложь, при равной искренности их убеждения. Вот хотя бы вопрос, кто кого кормит — работники ли капиталиста или капиталист работников? Для капиталиста вполне очевидно и непреложно доказано, что он кормит работников, потому что он дает им заработок; если же он не даст им заработка, им нечего есть. Значит, он прав с его точки зрения, он ведь дал рабочему деньги, на которые тот купил себе жизненные средства. Но рабочий, который знает, что люди кормятся вообще силою труда, точно также совершенно ясно видит, что он кормит капиталиста, потому что если бы тот имел свои деньги, а работники не производили бы предметов потребления, капиталисту нечего бы было есть; а если бы он не присваивал прибавочного труда рабочих, то и этих денег на покупку не имел бы. Вы видите, что они оба совершенно правы, каждый со своей точки зрения. Для обоих свое является истинной, и истинной очевидной, и оба могут считать друг друга совершенно бесстыдными лжецами, идущими против очевидности. Капиталист скажет: „Он идет против очевидности; я дал ему денег, он купил себе хлеба, значит, я его кормлю“. Рабочий ответит: „Нет, он идет против очевидности: разве деньги производят хлеб, который едим и мы и они“? И также, в сущности, почти всякая истина, в разной степени, но всегда может являться истинной с одной точки зрения, заблуждением с другой. И здесь ясно, что это точки зрения классовые, точки зрения разных коллективов. Так пролетарий убеждается, что нет истины самой по себе, нет истины вне коллектива, а существуют истины того или иного коллектива, как идеальные орудия, пригодные для устройства его жизни, потому что выработанные из его опыта. Достаточно изменить точку зрения, и то, что было истиной, становится ложью.

Так зарождается новая наука, пролетарская, в соответствии с новой, пролетарской истиной. Наука должна изменить свой характер с развитием пролетарски-классовой точки зрения. Это происходит первоначально в области познания общественных отношений, в области политической экономии. Там прежде всего выступили одна против другой две истины—буржуазная и пролетарская. Почему? Да потому, что именно в экономике начинается самая борьба классов, а с ней и противоречие классовых истин. Там, например, быстро обнаруживается, что если капиталист дает рабочим хорошую плату, то с своей точки зрения, конечно, он их не эксплуатирует; а с их точки зрения, если он дает пролетариям настоящую, хорошую, но и для себя выгодную плату, то все-таки он их эксплуатирует. А дальше эта пролетарская истина вырабатывается в противовес буржуазной по всем областям, сначала только общественных наук, но затем также и других. Точки зрения везде могут быть применены разные: точка зрения индивидуально-хозяйственная, т. е. буржуазная, и точка зрения коллективно-трудовая, т. е. пролетарская. Однако, разумеется, процесс их выработки—дело долгое и трудное; и то, что в нем сделано, усваивается лишь шаг за шагом сознанием класса. Один и тот же пролетарий может прекрасно понимать, насколько различна истина у него и у капиталиста в вопросе эксплуатации и, например, не понимать даже того, что в вопросе хотя бы о бытии и сознании, что чем определяется—сознание бытием, или бытие сознанием—у них тоже разная истина. И тем более может быть для него еще непонятно, что в каких-нибудь науках необщественных могут быть разные точки зрения, разное понимание у пролетариата и у представителей буржуазного мира.

Чтобы закончить ряд главных фетишей, остается указать еще на фетиш отвлеченной красоты. С индивидуалистической точки зрения красота есть красота, она прекрасна сама по себе. Это—чистая красота, и не зависит ни от класса, ни от эпохи, ни от условий труда, ни от каких общественных условий. Например, чистая красота, если взять женскую красоту—маленькие руки, маленькие ноги, тонкая талия—это совершенно не зависит от того, какого класса люди, какого общества. А пролетарий, если он подумает,

откуда взялось это представление о красоте маленьких рук, маленьких ног, тонкой талии, то он заметит,—как раньше когда то еще указал наш Чернышевский,—что это красота паразитизма. Маленькие руки, маленькие ноги,—это те, которые в ряде поколений не работают физически. Тонкая талия опять-таки соответствует той слабости стана, когда людям не приходится поднимать тяжестей на своем веку. И для пролетариата по мере того, как у него складывается свое особое эстетическое сознание, черты красоты будут иные, хотя с точки зрения старой чистой красоты они могут быть некрасивы. Так пролетариат опять-таки на опыте убеждается, что и красота имеет классовый и общественный характер, красота человеческого тела, и даже всякая иная. Ибо и красота природы, конечно, не одинаково воспринимается тем человеком, который умеет видеть в ней лишь „чистые“ линии, цвета, оттенки, и тем, кого физический труд научил ощущать за всем этим могучие сопротивления.

Теперь нередко даже, на почве борьбы, у пролетария складывается—это уже скорее преувеличение—заранее отрицательное отношение ко всякой красоте буржуазного мира и стремление во что бы то ни стало создать иную, новую красоту. Но, разумеется, вполне преодолеть старую точку зрения здесь, как и в других областях, он сможет только тогда, когда ему действительно удастся создать значительное и важное в этом смысле.

Так мы проследили один за другим ряд фетишей,—авторитарных, индивидуалистических,—и видим, что все эти фетиши возникают, одни из отношений власти—подчинения, другие—из разъединения людей борьбой, и все они преодолеваются, разрушаются силой коллективизма, силой товарищества, свойственной рабочему классу.

Пролетарская культура выяснилась для нас, как культура коллективно-трудовая и свободная от фетишей. Эти две черты вместе делают ее культурой человеческой по преимуществу. Чтобы понять, что это значит, обратим внимание на характер прежних культур, авторитарно-индивидуалистических с их фетишами. Фетиши эти характеризуются одним свойством, которое всего ближе выразится словом „бесчеловечность“. Так, фетиши авторитарные—воля боже-

ства, неисповедимые его пути и т. д., имеют ли они понятную для людей прямую связь,—косвенная и скрытая там, конечно, есть,—прямую связь с человеческими запросами, интересами, потребностями? В сознании фетишиста такой связи нет; и благодаря этому воля божественная часто выступала в самых истребительных, в самых бессмысленно-жестоких формах. Во имя этой воли божией сжигались и истреблялись всякими способами еретики, во имя этой воли божией ломались человеческие жизни всякого рода принуждениями и насилиями; и все это было логично, ибо, что такое человек перед бесконечностью божества? Столь же бесчеловечна реальная, земная власть в ее авторитарно-фетишистическом характере. Во все времена эта власть—деспотическая, рабовладельческая, феодальная, бюрократическая—была беспощадной в подавлении и истреблении тех, кто ей противился или просто так или иначе для нее был неудобен. Власть какого-нибудь Тамерлана, Чингиз-хана и всяких завоевателей была тот фетиш, во имя которого они боролись, и в жертву которому приносились многие миллионы людей; и это казалось людям естественным, нормальным. Бесчеловечна вся мораль, которая основана на фетишах бога и власти. Эта мораль требовала, например, спасения души хотя бы ценою уничтожения тела; и на это опиралась инквизиция. Это мораль была бездушно-формальная: стоило известным образом истолковать веление божества, и тогда, основываясь на нем, можно было делать, что угодно. Например, христианское учение запрещало убивать людей, запрещало проливать кровь; поэтому католическая церковь никогда не убивала людей и никогда не проливала крови. Это не мешало ей сжечь миллионы еретиков. Но она делала так. Она предавала еретика светской власти „для наказания мягкого и без пролития крови“; а светская феодальная и бюрократическая власть наказывала со всей своей мягкостью, т. е. сжигала, „без пролития крови“.

Фетиши буржуазного мира, индивидуалистические фетиши точно также бесчеловечны, хотя в ином роде. Например, деньги это—орудие распределения в обществе предметов, нужных людям; но деньги, как воплощение меновой ценности, фетиша капиталистического мира, являются в этом мире необходимым условием потребления. Человек, у

которого нет денег, не имеет возможности удовлетворять свои самые насущные потребности. Рынок признает только уплату, он не признает потребностей и не считается с ними. Следовательно, деньги, или товарная ценность, выражением которой они служат, представляют из себя фетиш совершенно бесчеловечный, именно, в силу отвлеченности, оторванности от своей основы—коллектива с его трудом и интересами. Люди могут сколько угодно умирать с голода, а другие рядом будут иметь величайший избыток, но в царстве фетишей из этого не вытекает, чтобы они должны были своим избытком делиться. В эпохи кризисов так и бывает. Масса гибнет от холода, голода; а рядом с этим излишние продукты гибнут от недостатка покупателей. Во время кризисов это бывает потому, что у кого есть потребность в этих продуктах, у того нет денег; а у кого есть деньги, тем эти продукты не нужны. Тут вместе с тем обнаруживается и бесчеловечность другого, исследованного нами фетиша—частной собственности, потому что дело тут именно в частной собственности на деньги, на товары, на предметы потребления. И точно также это говорит о бесчеловечности основного из этих фетишей—индивидуального хозяйства. В конце концов основа всей бесчеловечности—в индивидуальном хозяйстве с его частной собственностью борьба таких хозяйств, их конкуренция, имеющая характер войны всех против всех, конечно, устраняет все человеческое в их отношениях. И американский миллиардер только логичен в своем фетишизме, когда он предпринимает спекуляцию, дающую ему какие-нибудь десятки миллионов, совершенно безразличные для его потребностей, но в то же время разоряющие и приводящие к голоду и самоубийству тысячи, десятки тысяч людей.

Мораль буржуазного мира, его право, его нормы, как мы знаем, связываются с „автономным“ человеческим „я“, голос совести считается автономным законодательством личности, но не живой, конкретной, социальной, а отвлеченной, абсолютной, „самой в себе“, недоступной нашему опыту. И вот это автономное „я“ оказывается столь же бесчеловечным, как и все прочие фетиши. Да будет справедливость, да погибнет мир, это—его формула. Ясно, что эта формула совершенно бесчеловечна опять-таки потому, что здесь дело

идет об отвлеченной формуле, и человек, как живое конкретное существо, а не как автономное, абсолютно-моральное, отвлеченное „я“ для нее не существует. И это постоянно можно наблюдать в формализме старого права. Часто сами судьи, например, превосходно понимают, что их приговор жесток, бессмыслен; но он вытекает из закона, и для них вопрос этим исчерпывается.

Истину индивидуалистический мир понимает, как нечто отвлеченное, совершенно не зависимое от людей, их усилий, их стремлений. Это фетишизм отвлеченной истины; он, как показывает живая практика, столь же бесчеловечен, столь же чужд, что и естественно при таком понимании, запросам и потребностям людских масс. Достаточно посмотреть на самое блестящее, на самое поразительное и высшее в смысле успеха применения истины. Это — роль науки в мировой войне. Идеальная точность расчета в истреблении миллионов людей. Невиданное торжество математических, физических и химических формул. Для этой отвлеченной истины, действительно, безразлично ее применение, к творчеству ли человеческого, к истреблению ли всего человечества. Для отвлеченной истины, которая остается совершенно независимой от сохранения или уничтожения человечества, от сохранения или уничтожения миров, для нее это, действительно, безразлично. Но если мы понимаем, что истина есть организованный человеческий опыт и орудие организации сил человечества, то мы видим, что это применение научной истины представляет грубое жизненное противоречие, превращение науки в ее практическую противоположность.

Даже фетиш отвлеченной красоты, казалось бы, такой невинный, и он глубоко чужд человечности. Яркая иллюстрация — поэты и художники, прославляющие красоту войны, ее величие, — как прекрасна война в своем могучем разрушении. Очевидно, что их понимание красоты совершенно вне человечества. Напомню известное изречение анархиста — анархизм, идеология гибнущей от капитала мелкой буржуазии, дал представителей наиболее полного, наиболее последовательного индивидуализма; один из анархистов сказал, что перед красотой жеста человека, бросающего бомбу, ничто те мелочи, которые из этого последуют. Вот вам образец отвлеченной красоты.

Таковы старые фетиши во всей их бесчеловечности. Их преодоление, освобождение от них и есть творчество человечности. Нет надобности доказывать, как глубоко проникнут духом человечности коллективный труд людей и взаимная поддержка в этом труде. Совершенно понятно, почему, например, пролетариат всегда был классом, антимилитаристическим, поскольку он был сознателен, разумеется. Человечность торжествует и в виде свободного, освобожденного взгляда на мораль, право, истину, красоту. Любопытно, что даже прообраз коллективизма, коммунистическое христианство античного мира, идеология тогдашнего пролетариата уже дал формулу, отрицающую этот бесчеловечный фетишизм. В „Евангелии“ вы найдете выражение, приписанное Христу: суббота для человека, а не человек для субботы,—там, где идет дело о законе, о религиозном законе. Значит, иногда, по крайней мере, первобытное христианство возвышалось до понимания того, что религиозный закон существует для людей, а не наоборот. И вообще, когда мы полагаем, что нормы, истина, красота, что все это — орудия жизни и развития человечества, то понятно, бесчеловечные, бессмысленные применения, которые разрушают жизнь человечества, сами собою отбрасываются. Они подобны всякому ошибочному применению орудия, влекущему за собою часто гибель работника. Истина, конечно, всегда по своему происхождению есть именно орудие жизни и развития человечества; а если она может применяться для истребления, то ведь и топор, который есть орудие постройки, может, конечно, употребляться для убийства. Это — явления совершенно одного порядка.

Таким образом, пролетарская культура характеризуется высшей человечностью, и в сущности, есть первая истинно человеческая культура не только по своему происхождению, что само собою понятно, но человеческая по своему духу.

Таков третий момент пролетарской культуры — свобода от фетишей прошлого. Это, как видим, момент производный от трудового и коллективного характера этой культуры. Он даже как будто отрицательный, — свобода от фетишей, отрицание их; но он отрицательный только формально. Мы видим, как громадно его положительное значение. И этот момент тоже является для пролетарской культуры резко отли-

чительным. Правда, от авторитарных, напр., фетишей умели освободиться и крайние индивидуалисты, напр., идейные анархисты. Они отрицают религию, отрицают власть, отрицают священный характер всего этого, и т. д. Они умели освободиться от авторитарных фетишей; но тем менее они способны освободиться от фетишей индивидуалистических, и всецело подчиняются им. Точно также от фетишей индивидуалистических умеют освободиться некоторые представители авторитарной мысли, например, сторонники патриархального государственного строя. Они указывают на неестественность, на ненормальность господства капитала над людьми, на жестокую власть денег и рынка, и т. д. Но зато они тем сильнее проникнуты фетишами авторитарными; их идеал—мудрая, патриархальная государственная власть которая в согласии с религией организует жизнь народа.— Но в общем, все типические воззрения прежних культур представляют лишь смесь в разных пропорциях фетишизма авторитарного и фетишизма индивидуалистического. Из этих двух элементов в тех или иных комбинациях образуются более или менее связные, более или менее противоречивые комплексы, которые и представляют разные стадии, степени и формы прошлых культур. Уничтожение же этих фетишизмов само собою уже обуславливает культуру принципиально новую.

Д. Единство методов.

1) Его общие основы.

Пролетариат есть начало нового общества в старом; вследствие этого он неизбежно оказывается в противоречии со старым обществом. Противоречие это двойное. Во-первых, противоречие интересов. Во-вторых, противоречие мироотношения, понимая под мироотношением вообще основы культуры, ее точку зрения и методы.

Из противоречия интересов пролетариата со старым обществом в его целом вытекает революционная борьба за его переустройство. Эта борьба имеет вообще политическую форму, является политической борьбой. Это не есть ежедневная борьба за улучшения в пределах существующего строя, не есть обычная экономическая борьба пролетариата.

Начинается она, правда, в связи с этой экономической борьбой, как ее продолжение, и в начале не сознает, так сказать, своего характера. У борющихся еще нет сознания, что их политическая борьба со старыми классами есть борьба революционная, радикальная. Сначала в своей политической борьбе пролетариат тоже еще признает основы старого общества, не видит своей задачи в корне их преобразовать. Так, английские рабочие вели политическую борьбу за признание профессиональных союзов, потом за рабочее законодательство, и не видели, что эта борьба есть борьба за уничтожение буржуазного строя. Только постепенно в ходе политической борьбы для самого пролетариата выясняется, что это — борьба за социализм, за новое общество, за полное переустройство. И выясняется это, конечно, на суровых уроках истории, когда оказывается, что частные политические улучшения ничего существенно не изменяют в строе жизни, а жизненные противоречия этого строя становятся все ощутительнее для пролетариата. Например, пролетариат, борющийся за демократию, убеждается, что в демократических республиках его так же эксплуатируют, а при случае так же усмиряют, как и при прежнем государственном строе. Самый большой урок — это была, без сомнения, мировая война, в которой оказалось, что самые различные государственные формы старого строя, от русского деспотизма до английской свободы, одинаково годятся для того, чтобы подготовить и оформить такую мировую катастрофу. Так или иначе, пролетариат приходит, наконец, к сознанию своих целей, своих радикально-революционных интересов. Это образует одну сторону его сознания.

Другая сторона вытекает из того, что пролетариат идет не только к иным целям, чем старые классы, но, по своей природе, должен идти к этим целям иными путями, действовать иными методами, относясь ко всему окружающему с иной точки зрения. Отсюда вытекает его культурная или идеологическая борьба, в которой формируется его культурное сознание. Это и есть пролетарская собственно культура. Основу этой борьбы составляет выработка методов. Класс особый, своеобразный по своему положению в обществе, по своим задачам неизбежно должен выработать иные методы, иные пути для своего движения, потому что старые

пути обязательно будут приводить его к старым целям. Эти новые пути и методы, которые, собственно, и образуют культуру класса, шаг за шагом оформливаются. В чем же? Во-первых, в бытовых нормах — в том, что называли раньше классовым правом и классовой моралью; называли прежде, а для пролетариата эти названия, в сущности, уже не подходят. Затем в познании, следовательно, в классовой науке; наконец, в художественном творчестве и восприятии, т.е. в классовом искусстве. Бытовые нормы, познание, искусство — вот три области, в которых развиваются новые методы.

2) *Бытовое развитие пролетариата.*

Бытовое развитие мы уже рассматривали. Мы видели, что оно заключается в постепенном пропитывании пролетариата духом товарищества, т.е. коллективизма, в данном случае именно классового коллективизма. Мы видели, что процесс этот долгий, потому что пролетариат идет из класса мелких собственников, людей культуры индивидуалистической и отчасти авторитарной; мы видели, что пролетарии на первых шагах остаются таковыми же. Но мало-по-малу сама жизнь, процесс труда и борьбы учит рабочего, что, поскольку он остается на старой точке зрения и идет старыми методами, он ничего в своем положении, угнетенном и неустойчивом, изменить не может, потому что старые методы не могут вести к достижению новых целей, к решению новых задач. И вот пролетариат постепенно, в труде и борьбе, пропитывается коллективизмом, проникается им на почве фактического объединения. Вначале это объединение невольное, внешнее: в производстве его создает капитал, собирая рабочих в громадных предприятиях и связывая их своей дисциплиной. Затем это объединение укрепляет и расширяет сила вынужденной борьбы — насущный интерес, грубый жизненный интерес. Объединение достигается фактически, и только постепенно выражается в сознании, только постепенно осознается. Таким образом переход к коллективизму в своем развитии постоянно отстает от фактического объединения: сознание всегда отстает от факта.

Напомню яркий пример. Тредьюнионисты и синдикалисты до сих пор еще понимают товарищескую организацию,

как союз личностей, общими силами преследующих индивидуальные интересы. Организация товарищеская уже налицо, а понимается она индивидуалистически, потому что задачей ее ставятся индивидуальные интересы объединившихся. Это собственно ступень так наз. „демократического“ сознания. В демократическом сознании есть коллегиальность, т. е. сознание того, что силы объединены и должны действовать согласно; но нет коллективизма, при котором сознается и полное внутреннее единство целей. Коллегиальность предполагает объединение сил, но не предполагает слияния целей, а коллективизм предполагает и то и другое. Это и сказывается в демократическом сознании при решении всяких вопросов. Как решают вопросы демократы? Голосованием. Что значит голосование? Считают человеческие единицы. Как видим, здесь один человек считается совершенно одинаковым и равным другому. Казалось бы, это что-то очень хорошее, но в действительности это сводится к тому, чтобы превратить человека в отвлеченную единицу, в счетную единицу; а затем там, где больше этих счетных единиц, там признается право, где меньше счетных единиц, там требуется или подчинение или разрыв: исполняй или уходи. Это не коллективизм, потому что подчинение тут механическое. Большинство предписывает, меньшинство должно вопреки своему сознанию подчиняться. Значит, здесь есть дух авторитета, только перенесенный на большинство, а основа метода, которым создается этот авторитет, индивидуалистическая, признание формально-отдельной человеческой единицы, счет таких единиц, как абсолютных и совершенно самостоятельных. И надо сказать, что демократическое сознание бесконечное число раз на деле опровергалось историей, т. е. обнаруживало, насколько оно несовершенно. Ведь в громадном большинстве случаев право было меньшинство, в громадном большинстве случаев большинство было неправо, большинство было представителем консерватизма, традиций, прошлого, а меньшинство—представителем будущего. Уже одного этого достаточно, чтобы не смешивать демократическое сознание с коллективистическим.

Когда-то, лет 12 тому назад, мне приходилось спорить с товарищами и доказывать, что мы, хотя боремся за демократизм, который был знаменем борьбы, в сущности, вовсе

не демократы. Я говорил: „Какими мы можем быть демократами, когда пролетариат среди человечества несомненное меньшинство, а сколько-нибудь сознательные элементы среди пролетариата меньшинство, революционный элемент меньшинство среди этого более сознательного пролетариата. Мы же всегда меньшинство, и меньшинство в третьей, в четвертой степени“. Но я, конечно, не хотел сказать этим, что мы аристократы, хотя, впрочем, все зависит от того, как понимать это слово. Коллективистическое сознание просто поднимается над отдельной человеческой личностью, и имеет в виду коллектив, как целое, развитие его сил, развитие его жизни. При этом дело уже не в большинстве голосов. Если коллектив есть действительно целое, то вопрос решается не большинством и меньшинством, а единодушием, единогласием. Но ведь это невозможная вещь? Да, конечно, во многих случаях, это, особенно в наше время, невозможная вещь, однако, не во всех; и число случаев, где это вполне возможно, все возрастает. Каким путем возрастает? Да самый яркий пример наука. Можем ли мы даже сейчас сказать, что большинство людей признают, например, движение земли вокруг солнца? Если подвергнуть этот вопрос голосованию, то, вероятно, нет. Но наука это признает. А всякий, кто ознакомится с делом, придет к согласию с нею, или останется при мнении темного большинства? Ответ ясен. Дело в том, что по этому вопросу опыт коллектива уже организован. И таких вопросов уже много. Иногда это и практические вопросы. Например, классовая борьба. Представьте, что большинство пролетариев постановляет отменить классовую борьбу. Это будет только показывать, что перед нами несознательная, стихийная масса; а все-таки пролетарское коллективное сознание эту классовую борьбу неизбежно принимает, потому что оно имеет коллективный опыт пролетариата; и подчинимся ли мы тогда решению большинства пролетариев? Случай был: в мировой войне большинство пролетариев вначале отменяло классовую борьбу. Считали ли мы себя обязанными подчиняться? Конечно, нет. Но в тех случаях, когда коллективный опыт еще не организован, а согласия нет, приходится в своем коллективе подчиняться большинству—это меньшее зло.

Эти простые соображения весьма нелегко воспринимаются, потому что говорят о вещах в значительной степени новых. Но вот попробуем пояснить их посредством сравнения еще с одним историческим фактом. В эпоху Коперника громадное большинство людей, все, кроме одного, считали, что солнце движется вокруг земли. Они это видели прекрасно, это точно выражало их опыт, было для них непреложно. Коперник пришел к заключению другого рода, а именно, что земля движется вокруг солнца. Спрашивается, кто из них выражал опыт коллектива? Это ли большинство, или этот один человек. Всякий по привычке скажет, что опыт коллектива выражало большинство. Но это совершенно неверно. У всего этого большинства был только один и тот же наименьший, обывательский опыт, повторенный лишь сотни миллионов раз. А имевшийся уже коллективный опыт был гораздо больше этого. Именно, наибольший астрономический опыт, добытый к тому времени человечеством, был собран и выражен в так называемых таблицах кастильских астрономов. Один испанский король, Альфонс Мудрый, собрал астрономов и велел им приготовить новые астрономические таблицы. Астрономические таблицы вообще служат для ориентировки в морских путешествиях; тогда они были очень нужны, потому что шло усиленное искание новых путей и стран, — новых рынков; старые таблицы, уцелевшие от древнего мира, благодаря накоплению погрешностей в ряду веков, оказались очень неточными; все положение светил уже сильно изменилось. Астрономы должны были заново произвести измерения и проверку и составить новые таблицы. Это было сделано. Итак, у Коперника имелся весь тот опыт, какой имелся у других людей, у всех обывателей, т. е. и он видел, конечно, как солнце ходит вокруг земли; но кроме того, у него имелся еще опыт, собранный, объединенный всеми прежними астрономами, и, наконец, новейший, оформленный кастильскими астрономами. Спрашивается, у кого же был опыт человечества в целом? у кого был коллективный опыт? Совершенно ясно, что опыт человечества был всего полнее, всего цельнее выражен у Коперника. И вообще, опыт человечества это вовсе не опыт большинства его, а это весь тот опыт, который в нем собран, который имеется у большинства и у меньшинства, который имеется у всех

вместе. Опыт большинства—это только тот минимум или та средняя величина, которая свойственна людям. Опыт коллектива—это, напротив, максимум, который имеется у всех вместе, а сколько-нибудь полно концентрируется в меньшинстве, иногда в отдельных личностях.

Сравним это с богатством, с благосостоянием. Благосостояние большинства—это среднее благосостояние мелкого, напр., собственника. А благосостояние коллектива что такое? Это вся сумма богатства, которым он располагает, вовсе не среднее, а вся сумма.

Переход от демократического сознания к коллективистическому заключается именно в том, что люди перестают быть счетными единицами, а представляются как нераздельные элементы одного целого. Задачей ставится не подчинение меньшинства большинству, а его полное согласие с большинством. Если же допускается на деле подчинение меньшинства, — и вы знаете, теперь оно допускается на каждом шагу, — то только, как временный компромисс. Если, напр., в рабочих союзах пролетариат решает по большинству, то это значит, что надо действовать, а между тем нет времени, нет возможности столкнуться так, чтобы все пришли к одному и тому же: нет времени, так приходится действовать по большинству. Вот смысл голосований в рабочих союзах. И поэтому, когда мне пришлось рисовать социальный идеал в „Красной Звезде“, я совершенно устранил отсюда элемент массы и голосования, т. е. массы, состоящей из разрозненных элементов.

Но все-таки, так или иначе, это коллективистическое сознание развивается, и оно, конечно, вырабатывает свои нормы, прежде всего бытовые. Прежние бытовые нормы назывались — обычай, право, нравственность. Новые собственно неправильно так называть. Вы знаете, обычай, нравственность, право имели определенную санкцию, т. е. поддерживались определенными силами. Обычай имел за собою санкцию прошлого, санкцию веков. Ясно, что пролетарские нормы не таковы. Право имеет за собою санкцию государственной власти, т. е. санкцию господствующей силы и ее насилия. Мораль имеет за собою санкцию божественной воли, или же чистой справедливости, чистого добра, отвлеченного добра. Какая-нибудь авторитарная мораль — санкцией служит божья воля, мораль

отвлеченная—санкция чистой отвлеченной справедливости чистого отвлеченного добра. Опять-таки, для пролетариата все эти санкции не годятся. Он может, конечно, временно пользоваться ими, и долгое время сам стихийно, бессознательно их придерживается, но он вовсе не соответствует его природе.

Какие же у него-то нормы? Без сомнения, и самый сознательный коллективист-пролетарий при случае говорит: ты не имел права так делать, это не хорошо, не честно, и т. д. Что он под этим подразумевает, если он сознает, что говорит? Он под этим не подразумевает нарушения божеской воли, он этим не подразумевает нарушения чистой отвлеченной справедливости, так же, как не подразумевает нарушения традиций прошлого.

Он подразумевает под этим целесообразность, полезность для коллектива—с точки зрения коллектива, его жизни, его развития. Если он говорит,—это плохо ты делаешь, не хорошо,—он подразумевает под этим вред для коллектива, для общего, для целого. Следовательно, это нормы не религиозные, не правовые, не моральные,—это нормы целесообразности или нецелесообразности для коллектива. Значит, они сами по себе и не принудительные, они не нуждаются в санкции принудительности, в силе принудительной. Дело идет о целесообразности, именно о целесообразности с точки зрения коллектива. Следовательно, кто принадлежит к коллективу, живет его целями, его задачами, для того они подразумеваются сами собою, без всякого принуждения.

Однако, мы знаем, что и бытовые нормы пролетариата приобретают часто такой, весьма принудительный характер, что, напр., штрейбрехеров бьют, а то и убивают за нарушение товарищеских норм. Тут сказывается принудительность в самой ясной форме. Других бойкотируют—это также известная принудительность, и т. д. Да, но эта принудительность вынуждается борьбою. Эта принудительность зависит от того, что коллектив-то еще не сложился вполне, что он только складывается, только развивается, и притом в борьбе. В этой стадии принудительность неизбежна, она вынуждается самой борьбою; но эта принудительность не относится ни к божеству, ни к чистой истине, а в сознании передового пролетариата она так и связывается с интересами коллектива

в его борьбе. Значит, санкцией является просто и прямо общая цель; и если применяется насилие, то не во имя отвлеченного права, и тем менее божеского закона, а применяется по необходимости борьбы. В сущности эту санкцию можно назвать научной, и вот по какой причине. Наука говорит, как следует действовать в тех или других случаях, она, следовательно, дает правила. Но эти правила она обосновывает не на божеском повелении или на отвлеченном каком-нибудь законе. Нет, она их обосновывает на целесообразности. А между тем, обосновывая так, она действует иногда и принудительно. Напр., наука говорит: с динамитным патроном надо обращаться так-то, чтобы его сохранить, или взорвать безопасно; если она дает такое правило, оно не моральное, не правовое, но оно практически принудительное. Кто это правило попытается нарушить, того можно и надо подвергнуть немедленному насилию. Если человек обращается с динамитом так, что он может взорвать много других людей, и у вас нет времени словами убеждения его остановить, вы должны его застрелить. Это вытекает из научной санкции потому, что наука есть выражение опыта и задач коллектива, и ее санкция есть санкция целесообразности.

Мы видим здесь опять-таки демократизм совершенно отпадает. Штрейкбрехер презренен вовсе не потому, что он в меньшинстве, и если в каком-нибудь желтом союзе все штрейкбрехеры, то это вовсе не делает их позицию более нравственной, более чистой. Более того, может оказаться, что во всем пролетарском мире в известный момент штрейкбрехерами являются девять десятых;—так было, когда началась мировая война,—девять десятых рабочего класса Европы были штрейкбрехерами пролетарской борьбы, потому что они пошли на империалистскую войну, пошли не по принуждению, а за совесть. Это не изменило самой нормы, ибо численное большинство в ней не при чем: демократизма нет в пролетарской бытовой норме. Огромное большинство может ее нарушить и нарушило, но пролетарская норма целесообразности коллектива, вытекающая из задач рабочего класса, от этого не изменилась.

3) Научное развитие пролетариата.

Продолжая изучение четвертого момента пролетарской культуры—единства методов,—теперь мы подходим к вопро-

сам научного развития пролетариата. В сущности, и об этом приходилось уже говорить в предыдущем.

Наука старого мира развилась на основе своего отрыва от производства, от коллективного труда людей. В этом заключается ее основная односторонность. Пролетариат во всех своих проявлениях культурного творчества стоит на коллективно-трудовой точке зрения. Естественным и понятно, что она проходит у него и через область науки. Поэтому, неизбежно было зарождение новой, пролетарской науки, точка зрения которой есть коллективно-трудовая. И мы знаем, эта наука возникла сначала в виде новой политической экономии, которую можно назвать политической экономией трудовой стоимости. А трудовая стоимость—это есть именно воплощение коллективного труда в товаре. И, следовательно, политическая экономия, идущая от Маркса и основанная на принципе трудовой стоимости, есть коллективно-трудовая. Она складывается в то самое время, когда политическая экономия старых классов буржуазии развивается, можно сказать, в прямо противоположную сторону. Их новейшая политическая экономия основана на так наз. учении о предельной полезности, которое стоит исключительно на точке зрения обмена и потребления. Это, опять-таки, совершенно понятно. Старая буржуазия все более отходит от производства, но, конечно, продолжает покупать и продавать, живет в области обмена и, разумеется, в области потребления; а точка зрения коллективного труда становится для нее абсолютно недоступной.

Одновременно с новой политической экономией зародилось и новое понимание истории: исторический материализм, который считает основой общественного развития производство или коллективный труд, исторический материализм, который есть именно коллективно-трудовой принцип в социальных науках.

Таким образом, в области общественных наук уже в значительной степени даже сложилась новая пролетарская наука, в значительной степени она уже существует. А затем новая точка зрения проникла в область философии. И здесь суть ее опять-таки заключается в том, что она рассматривает мир, природу, как поле деятельности человеческого коллектива, как поле коллективного труда.

На этом мы сейчас все же не станем останавливаться, потому что вопросы эти слишком важные и сложные для того, чтобы затрагивать их мимоходом. Во всяком случае, вслед за общественными науками и философией поднимается перед пролетарским сознанием вопрос о пересмотре *всех вообще* наук с коллективно-трудовой точки зрения. Вопрос поднят, кое-что сделано, делаются дальнейшие шаги; но надо помнить, что такая вещь, как пересмотр науки, гигантского комплекса знаний, завещанных тысячелетиями жизни человечества, требует, конечно, не малого времени и огромных усилий. И нам здесь не приходится иллюстрировать эти вопросы в силу тех же соображений ¹⁾.

Итак, наука преобразуется шаг за шагом с единой коллективно-трудовой точки зрения, а следом за этой единой точкой зрения идет естественно и логически необходимым образом единство научных методов. Это единство методов зарождается, как всегда, в сфере практики, в сфере коллективного труда, а не в науке, как таковой. Оно возникает именно в научной технике машинного производства.

Мы знаем, что прежде над производством, над человеческим трудом и, следовательно, над самими людьми, над коллективом господствовала специализация, которая суживала и дробила силы людей, их сознание. И мы видели, как машинное производство преодолевает эти результаты специализации, изменяет ее характер, как труд становится все более однородным по существу. В нем сливаются организаторский и исполнительский элементы, при чем все более преобладание переходит на сторону организаторского элемента, который существенно сходен, тогда как остающаяся различной исполнительская сторона труда занимает все меньшее место в жизни работника. Но самая эта однородность труда в свою очередь основана на машине, т.е. на едином методе практики, на едином методе труда, на едином техническом методе. Что же это за единый технический метод, который воплощается в машине? Всякая машина есть, собственно, орудие для превращения энергии. Берется какая-нибудь

¹⁾ Этому вопросу специально посвящена моя работа „Социализм науки“, 1918 г., также ряд глав в „Науке об общественном сознании“ и в „Политической Экономии“ Богданова и Степанова.

стихийная сила—сила воды, ветра, пара, электричества, и превращается посредством технических приспособлений в те виды энергии, которые нужны людям в данном конкретном случае. Следовательно, этот единый метод есть именно метод превращения энергии из одной формы в другую. А на основе практического превращения энергии даже старая наука, когда ей пришлось иметь дело с развивающимся машинным производством, пришла к единой точке зрения в тех науках, которые именно эту технику машинную организуют, т.-е. в физико-химических и технических. В физико-химических и технических науках всецело господствует единый метод, который можно назвать энергетическим, т.-е. там все явления рассматриваются как превращения энергии, как ее сохранение и рассеяние. Энергетика, общий метод физико-химических наук, и возникла первоначально именно из термодинамики; а термодинамика была, в сущности, обобщенным абстрактным учением о паровых машинах. Таким образом, это единство метода было порождено машинным производством даже в старой науке, и оно продолжало до наших дней завоевывать все новые и новые области. Прежде всего науки о жизни: физиология давно стоит прочно на энергетической точке зрения, другие биологические науки проводят ее дальше и дальше.

Но, во первых, буржуазная наука могла провести это единство метода только в тех областях, где прямо вынуждала к этому практика, т.-е. в группе физико-химических и связанных с ними наук, а затем лишь, мал-по-малу, в других естественных науках. Она не умела и не могла применить эту точку зрения к общественным наукам. А, во вторых, самое понимание этого закона сохранения энергии в старой науке неизбежно смутное, потому что понять настоящим образом значение и смысл этого принципа, зародившегося в производстве, конечно, и можно только с точки зрения производства, т.-е. коллективного труда. Так., напр., физики до сих пор весьма расходятся в вопросе о том, что же такое энергия. Одни рассматривают ее, как некоторую сущность, „субстанцию“, образующую мир, другие, как чистый символ, служащий для вычислений. А с точки зрения коллективного труда, идея „энергии“ выражает всеобщий практический метод, выражает именно то, что для всякого

производственного действия, для всякой нужной коллективу работы, приходится откуда-нибудь почерпнуть необходимые силы и превращать их в надлежащие формы. Вот действительная сущность, действительный смысл идеи энергии, смысл совершенно непривычный и чуждый для старой науки.

Итак—единство методов. И, как видим, методов практического и познавательного. Практика и познание, вместе взятые, представляют именно человеческую работу организации, именно организации вещей, людей и человеческого опыта. Если взять целиком всю практику и все познание, то что у них общего? То и другое—организующая деятельность. Процесс организации вещей для потребностей общества—это технический; людей—это экономическая практика, идей или, правильное, человеческого опыта—это познавательная работа, идейная. Следовательно, единство метода в практике и познании есть не что иное, как единство организационных методов, а вместе с тем единство организационного опыта. Единство методов научных и практических есть единство методов организационных. Это вполне естественно; и все-же только пролетариат, индустриальный пролетариат, в силу своего особого положения в социальной жизни мог дать основу для него, точку зрения, приводящую к этому единству.

Что же это за особое положение? Оно заключается в том, что пролетариат—организатор во всех областях. Он организатор вещей, потому что его руками выполняется технический процесс, т. е. организация вещей для человечества; эту работу непосредственно ведет пролетариат. Но он ведь и сам организуется для своей работы, для своей социальной борьбы. Это организация людей в коллектив. Значит, пролетариат есть также организатор людей. И он вырабатывает свою культуру—следовательно, он есть организатор идей. Это первый класс в истории человечества, который необходимо ведет организационную работу во всех областях жизни сразу.

Сопоставим его с буржуазией. Буржуазия организаторский класс? Да, конечно; она управляет современным обществом, она организует людей; она организует идеи, вырабатывая, развивая свою культуру. Но занимается ли она организацией вещей? Этот труд, техническую работу, она предо-

ставляет другим классам. Значит, она—организатор не во всех областях, и как раз не организатор в основной из всех—в организации вещей. Поэтому она и не могла притти ко всеобщим организационным методам, которые должны объединять все эти области; а для пролетариата, организатора во всех областях, притти к этому единству организационных методов естественно и необходимо: это вытекает из его основных жизненных интересов.

Таково развитие пролетариата в сфере науки. Многое в нем уже сделано, еще гораздо более намечается; и через все проходит действительное глубокое единство коллективно-трудовой точки зрения и основанных на ней организационных методов.

В сфере искусства пролетариат начинает развиваться позже, чем в сфере быта и в сфере науки, а суть, конечно, та же—переход от индивидуализма и авторитаризма к коллективно-трудовой точке зрения. Прежде, в эпохи авторитарные, как патриархат, феодализм, с их общественным сознанием в религиозной форме искусство было всецело авторитарно-религиозным. Там художественное творчество рассматривалось, как народное служение богам. Что значит „народное служение богам“? Во-первых, как видим, тут была своего рода коллективная точка зрения: деятелем художественного творчества был и признавался народ, как религиозное целое. Но цель творчества была не в нем, а в „богах“, т.-е. в фетишах, под которыми, конечно, скрывается жизненная связь коллектива, его единство. Буржуазное отвлеченное сознание считает художественное творчество, во-первых, делом личным, индивидуальным, во-вторых, считает его служением чистой, абсолютной красоте. Значит—индивидуализм и отвлеченный фетишизм. А что такое искусство для пролетариата? Это, во-первых, продукт коллективно-создаваемый, во-вторых, орудие организации сил коллектива же. Коллективно создаваемое—это не значит то, что создается обязательно толпой, многими вместе. Это может иногда быть, но может и не быть. Важно другое: то, что фактически участвуют в создании каждого художественного произведения не только его творец-художник, но весь коллектив, к которому он принадлежит, потому что этот коллектив дал ему и силы, и материалы, и стремление создать это художественное произведение. Силы даны всей подготовкой, воспитанием; материалы

давы опять-таки всей жизнью, общим опытом коллектива; а направление, устремление дается духом коллектива, его жизненными тенденциями.

Это—пролетарская точка зрения на искусство, а точнее—коллективно-трудовая. Почему так точнее? Когда мы говорим—пролетарское, мы понимаем под этим класс, который проходит разные ступени, который не сразу восходит до ясного самосознания. А коллективно-трудовая точка зрения—это именно его самосознание, к которому он приходит в результате долгого развития. Конечно, в первых ласточках пролетарского искусства эта коллективно-трудовая точка зрения проявляется только стихийно; но шаг за шагом она вырабатывается и проникает собою сознание пролетария-художника. Шаг за шагом. Но сделано в этом отношении пока еще сравнительно немного.

Здесь пролетарское искусство дополняется, как необходимо для всякого искусства, своей пролетарской критикой, которая стремится помочь его выработке, его осознанию. Нередко приходится слышать даже со стороны товарищей „пролеткультовцев“: „художественное творчество свободно. Как может критика, хотя бы самая ученая и стремящаяся быть самой пролетарской, как может она указывать ему пути?“ На это надо ответить, что указывать пути в положительном смысле, в смысле прямого непосредственного руководства, что делать, что творить, как вырабатывать и т. д., этого пролетарская критика, в общем, не может. Этого критика, вообще, обыкновенно не делает. Критика регулирует развитие искусства, охраняет от ложных шагов, освобождает от подчинения прошлому. Это она может и должна. О нашем журнале „Пролетарская Культура“ не раз говорили: „что за няньки! все указывают—вот это пролетарское, а это не пролетарское искусство!“ Это как раз то, что может и что должна делать критика. Она может и должна указывать там, где молодое творчество подчиняется прошлому, там, где оно идет по чужим путям. Это отрицательная работа, но, конечно, громадной важности ¹⁾.

¹⁾ Специально посвящена этим вопросам моя работа „Искусство и рабочий класс“ (1918); также соответственные главы „Науки об общественном сознании“ (1919 г.).

Итак, единство точки зрения и метода: точка зрения—коллективно-трудовая, метод—организационный; таков четвертый из основных моментов пролетарской культуры: труд, коллективизм, освобождение от фетишей, единство точки зрения и методов.

Единство методов—это тоже отличительная особенность пролетарской культуры от старых культур. Старая культура, вся буржуазная культура, благодаря разрозненности буржуазного мира, благодаря его анархии, не могла не только выработать единства точки зрения и методов, но она не могла даже и поставить этой задачи. Она чужда этому, и если приходится частично к подобному единству, то только ощупью и невольно. Она чужда и коллективно-трудовой точки зрения, в силу оторванности от труда, и организационной точки зрения, в силу той борьбы и раз'единения, той постоянной дезорганизации, которая господствует в буржуазном мире.

V. Социалистический идеал.

Мы называем пролетарскую культуру классовой. Она, конечно, и есть классовая, потому что вырабатывается в определенном классе и в его борьбе с другими классами. Но только ли классовая? Посмотрите на ее элементы. Она коллективно-трудовая. А разве жизнь человечества не была всегда коллективно-трудовой? Да, в действительности она никогда иной не была. Человечество всегда жило и развивалось силою коллективного труда. Ведь труд не переставал быть коллективным от того, что он разрознен во множестве хозяйств, и что люди, передавая друг другу, распределяя продукты этого труда, вступают в борьбу между собою на рынке. Все-таки остается то, что всегда люди работали и работают друг на друга, а, следовательно, работают на коллектив. Коллективно-трудовой смысл жизни был замаскирован, скрыт от людей видимым дроблением коллектива и видимой борьбой; но только замаскирован, затемнен. В пролетариате эти затемняющие, скрывающие его условия устраняются, как бы разрываются своеобразные оболочки, и выясняется—что же? *Общечеловеческое*: то, что в человечестве всегда было, но чего оно не сознавало.

В чем смысл освобождения от фетишей? Что эти фетиши в себе заключают? Фетиши религии, т. е. авторитарные—это одно и то же,—объединяли людей и дисциплинировали их для общественной жизни. Например, бог, в сущности, был только выражением единства родового, племенного, народного, выражением связи людей; а его заповеди, веления выражали строй жизни коллектива. Значит, в действительности, под этими фетишами скрывалась именно коллективно-трудовая связь; она была их действительной основой. В фетишах отвлеченных, фетишах буржуазного мира точно также. Например, чистая истина это—в сущности истина общечеловеческая, истина, создаваемая человечеством, как целым в его

труде. Или, например, один из прекраснейших в свое время фетишей буржуазного мира—свобода, личная свобода, свободное „я“. Это, собственно, выражение такой связи коллектива, при которой каждый член коллектива беспрепятственно развивается. Следовательно, и под этими фетишами скрыта тоже коллективно-трудовая связь. Пролетарская культура раскрывает это истинное содержание фетишей, раскрывает действительность, которая опять-таки постоянно имела в жизни человечества, но была затемнена, скрыта. И здесь пролетариат стоит на общечеловеческой почве.

Затем единство точек зрения, единство методов. Единство и связность, это—*организованность*. Все живое всегда стремится к единству, к связности, к организованности, к жизненной цельности. Это—цель всякой жизни, всякой жизненной организации. Человечество всегда стремилось к этой цели, хотя бы не сознательно, стихийно; и если эта цель ставится сознательно и достигается больше, чем когда-либо, то это обще-человеческая победа?

Итак, все выясненные нами элементы пролетарской культуры имеют обще-человеческий характер, хотя по необходимости одеты в классовую оболочку. Однако, ведь, в пролетарской культуре есть еще один элемент, о котором как будто не говорилось—элемент классовой вражды и классовой ненависти. Конечно, мы не останавливались на этом элементе, потому что в самом слове „класс“ о нем уже сказано. Кто говорит о классах, тот говорит о борьбе; кто говорит о борьбе, тот говорит о противоречиях, вражде, ненависти. Это само собою понятно; но это не есть собственный элемент пролетарской культуры, это элемент навязанный, отрицательный. Ей приходится бороться, чтобы жить и защищать себя, чтобы развиваться. Элемент борьбы в пролетарской культуре, элемент классовой вражды, классовой ненависти необходимый, но только отрицательный, а не положительный. Однако, если хотите, даже и он обще-человеческий—обще-человеческий для классового общества. Каждый класс относится так к другому. В современном, классовом обществе это, следовательно, опять-таки общий, обще-человеческий элемент, но не основной, не определяющий для культурного творчества. Он, во-первых, лишь временный, пока приходится вести классовую борьбу, а во-вторых, он отрицательный, а развитие,

творчество определяется, конечно, в основе своей положительными элементами.

Я поясню это сравнением. Садовнику артисту приходится устроить прекрасный сад там, где сада не было. Разумеется, он должен расчищать почву, ему приходится уничтожать, вырывать неподходящие растения, резать, выжигать и т. д. Но чем будет определяться его творчество? Что является основным в его творчестве, и, следовательно, в его духовных переживаниях? Эта ли работа по расчищению почвы, вырыванию, выжиганию неподходящих элементов? Конечно нет. Основным в его творчестве, в его переживаниях являются те элементы работы, которые заключаются в подборе, распределении, посадке выбранных им растений, в их постоянном культивировании, уходе за ними, и т. д. Его культура, если можно так выразиться, заключается в этом положительном культивировании, а не в том, что он нечто разрушает и уничтожает, чтобы иметь простор для этой положительной работы. Так и пролетарская культура определяется в основе не борьбой, а трудом, не разрушением, а творчеством. Ее душа это—ее положительные элементы. Если мы соберем эти положительные элементы,—коллективизм труда, свободу от фетишей, единство и цельность жизненной точки зрения, жизненных методов,—возьмем их вместе и в полном развитии, что они тогда образуют? Возьмем жизнь в целом, проникающую ими—что тогда перед нами? Жизнь, проникнутая коллективизмом, трудом, освобожденным от фетишей, единая в своих целях и в своих методах,—как это называется? *Социалистический идеал*. Вот что такое пролетарская культура. Пролетарская культура есть социалистический идеал в его развитии.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Прообразы новейшего пролетариата	3
II. Зарождение новейшего пролетариата	17
III. Культурная линия мануфактуры	27
IV. Линия машинного производства	—
А. Роль работника в производстве	32
В. Товарищеское сотрудничество	41
С. Разрушение фетишей	52
D. Единство методов.	—
1) Его общие основы	73
2) Бытовое развитие пролетариата	75
3) Научное развитие пролетариата	81
V. Социалистический идеал	89

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Новый мир, 3-е изд., Гос. Изд. 1920.

Наука об обществ. сознании, 2-ое изд., Лит.-Изд. Отдел Нар. Ком. Прос., 1918.

Искусство и рабочий класс, изд. Ц. К. Всер. Пролеткульта, 1918.

Социализм науки, изд. Ц. К. Всер. Пролеткульта, 1918.

Красная звезда утопия, 3-е изд., Изд. Отд. Петерб. Совдепа, 1919.

Инженер Мэнни, фантастический роман, 3-е изд., Петерб. Совдепа 1919.

Философия живого опыта, Гос. Изд. 1920 г., цена 50 р.

Всеобщая организационная наука, т. I и II (распродано).

Краткий курс эконом. науки, 10 изд., переработанное *Ш. М. Дзюлайцким* при участии автора, Гос. Изд. 1920 г., цена 70 р.

Начальный курс полит. экон. в вопросах и ответах, изд. 5-ое. Изд. Отд. Моск. Совдепа.

Курс политич. экономии *А. Богданова* и *И. Степанова* т. I, изд. 3-е, Изд. Отдела Моск. Совдепа, 1919, т. II, вып. 2-ой, Гос. Изд. 1919 г., т. II, вып. 4-ый, Гос. Изд. 1919.

Издания Всероссийского Совета Пролеткульта.

А. Луначарский. Диалог об искусстве. Цена 2 р.

Протоколы Первой Всерос. Конф. Пролеткульта, под редакцией *П. И. Лебедева-Полянского*. Цена 4 р. 50 к.

П. Бессалько и *Ф. Калинин*. Проблемы пролетарской культуры. Книгоиздательство „Антей“. 80 стр. Цена 10 руб.

Р. Пельше. Нравы и искусство французской революции. Государственное издательство. 52 стр. Ц. 12 р.

„Пролетарская Культура“. Сборник журнала № 1—10 в одной книге. Второе издание. Государственное издательство. Цена 35 руб.

Печатаются:

Памяти Ф. И. Калинина. Сборник статей А. Вогданова, А. Колонтай, А. Луначарского, В. Полянского и других.

Портреты Ф. И. Калинина, П. К. Бессалько.

Журнал „Пролетарская Культура“ продается: Москва, Советская площадь, 1-й книжный склад Государственного Издательства.



